

Конференция «Режимы будущего: проекты, пророчества, утопии»

(Институт глобальной реконституции, Берлинский университет
имени Гумбольдта, 15 марта 2025 года)

DOI: 10.53953/08696365_2026_200_4_827

Конференция «Режимы будущего: проекты, пророчества, утопии», состоявшаяся 15 марта 2025 года в Берлинском университете имени Гумбольдта, была посвящена поискам ответа на вопрос, который сегодня в равной мере тревожит, вдохновляет и ставит в тупик: как мы конструируем, представляем и переживаем будущее? Ответ, на первый взгляд, очевиден: будущее — это продолжение настоящего. Мы экстраполируем тренды, строим сценарии, вычисляем вероятности. Таков удел политологов, экономистов, корпоративных футурологов. Однако у рационального подхода есть фатальная уязвимость: он почти всегда ошибается в точках бифуркации. Он не предсказал распад СССР, не предвидел природы современного терроризма, не разглядел пандемию COVID-19 и, что важнее в контексте темы конференции, не уловил траекторию развития России за последние два десятилетия.

Организаторы предложили смелую альтернативу — иной способ узнавать о будущем через художественное, литературное, пророческое воображение, и этот способ, как ни парадоксально, подчас оказывается точнее научных выкладок. В 2000–2010-х годах русские писатели — В. Пелевин, В. Сорокин, Д. Быков* — создавали романы, которые современники воспринимали как гротескную фантастику, почти сюрреалистический абсурд. Сегодня, оглядываясь назад, можно увидеть, что эти тексты описывали реальность точнее многих аналитических докладов. Литература увидела то, что оставалось скрыто от рационального взгляда.

Отсюда возникают мучительные и захватывающие вопросы. Как работает литературное пророчество? Как разгадать его механизм? Чем удачливый писатель-провидец отличается от тысяч тех, чьи предсказания не сбылись? И не кроется ли в этих предсказаниях элемент самосбывающегося пророчества: не способствует ли литература наступлению того страшного будущего, которое она описывает, формируя коллективное воображаемое? Впрочем, конференция не замыкалась на мрачных антиутопиях, предлагая подумать о том, есть ли сегодня место для утопий. Возможно ли сейчас позитивное конструирование будущего? Или же мы обречены на бег по кругу собственных кошмаров?

Конференцию открыли *Илья Калинин* (Берлинский университет имени Гумбольдта / Институт глобальной реконституции, Берлин) и *Александр Эткинд*** (Вена). Во вступительном слове они обратились к напряжению, существующему между утопией и пророчеством. Калинин начал с резкого тезиса: настоящее проигрывает даже недавнему прошлому. Простая репродукция прежнего статус-кво больше не работает. Причина этого кроется в дефиците социального воображения. Прогнозов становится все больше, и все они не сулят добра, но катастрофически не хватает проектов, которые предложили бы альтернативу, утопий. Утопическое мышление пережило двойную дискредитацию: в России его как форму авторитарной мысли похоронили еще в эпоху перестройки, на Западе — свели к идее конца

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

истории (утопия якобы уже реализована рынком). Но Калинин настаивал: время утопии вернулось. И вместе с ним — время критики тех форм исторического сознания, которые привели к нынешнему кризису. Эткинд добавил, что «великие умы объясняют настоящее, но по-настоящему великие видят будущее». Проблема заключается в том, что эту способность можно распознать только ретроспективно. Пророчества воображают новые миры, и никогда не известно заранее, какой из них окажется реальным. Единственное, что можно узнать, — какое пророчество *оказалось* верным. Иными словами, чтобы вынести приговор пророчеству, нужно переместиться в будущее.

Первый доклад конференции *Ильи Калинина* «Очень старые песни о главном: Деконструкция → Ностальгия → Аффирмация»¹ предложил участникам пересмотреть устоявшуюся роль позднесоветского неофициального искусства. Такие направления, как соц-арт и московский концептуализм, как утверждал Калинин, не столько критиковали советскую идеологию, сколько подготовили ее формальный скелет для будущего воскрешения. Художники — от Брускина с его «Фундаментальным лексиконом» до Кабакова и Пригова — извлекли из советской культуры ее архетипическое ядро, очистив идеологемы от исторического и социального содержания. Советское превратилось в набор пустых означающих, архетипических фигур и формальных техник, пригодных для любого нового наполнения. Этот механизм стал структурной основой для ностальгической реактуализации советского в постсоветскую эпоху. Сначала коммерческие проекты 1990-х — «Старые песни о главном» и «Русский проект» К. Эрнста — использовали те же приемы коллажа и иронического цитирования, но уже с теплой и меланхолической интонацией. Затем официальные культурные нарративы последующих лет включили эти «очищенные» формы в новый контекст. Калинин назвал это *самоисполняющимся пророчеством*: критика прошлого обернулась утверждением, пародия оказалась не разрушением, а машиной памяти, законсервировавшей советский миф и сделавшей его «вечным».

Анастасия де ла Фортель (Лозаннский университет) в докладе «*“Падение Константинополя — личное несчастье, случившееся с нами на прошлой неделе”: дистопическая инаковость*» сформулировала один из ключевых вопросов конференции: как работает механизм литературного пророчества и как отличить точные предсказания от множества неудавшихся? Число утопических и дистопических прогнозов огромно, и некоторые неизбежно сбываются по чистой вероятности, как, например, пророчества Нострадамуса. Но есть и более тонкий механизм: рациональная экстраполяция существующих трендов делает предсказание правдоподобным, определяя читательское восприятие и запуская эффект самоосуществляющегося (или самоопровергающегося) пророчества. Де ла Фортель предложила классификацию текстов по признаку репрезентации инаковости. На одном полюсе оказываются нарративы принятия Другого, на другом — дистопии, где инаковость предстает непреодолимой угрозой, требующей уничтожения. Ключевой пример второго — роман Жана Распая «Лагерь святых» (фр. «Le Camp des saints»): армада нищих индийцев высаживается во Франции и разрушает западную цивилизацию. Инаковость здесь изображена через животную и демоническую символику. Этот текст стал источником конспирологической теории «великого замещения» и обрел прямую перформативную силу. Его противоположность — «Покорность» Мишеля Уэльбека — произведение, в котором исламистская партия приходит к власти в коалиции с социалистами, наводит порядок в обществе и постепенно исламизирует

1 Статья на основе этого доклада печатается в настоящем выпуске.

образование. Уэльбек разворачивает сложную нарративную машину и создает текст, который невозможно отнести ни к утопии, ни к дистопии, из-за чего читатель остается в недоумении. Де ла Фортель предлагает воспринимать «Покорность» как ответ на «Лагерь святых»: социальная дистопия чудовищной инаковости оспаривается утопией примирения с самим собой, достигаемого через полное освобождение от страха перед Другим. Тем самым Уэльбек обнажает принцип обратимости семиотических систем: каждая утопия онтологически дистопична, и наоборот.

Доклад *Дмитрия Симановского* (издательство ÜBERBAU, Рига) «*Мост между утопией и дистопией: Олдос Хаксли как архитектор будущего и место, которое он отводил России*»² начался с необычного наблюдения: Хаксли едва ли не единственный автор XX века, создавший и классическую дистопию («О дивный новый мир»), и утопию («Остров»). Между этими полюсами развернулись его публицистические произведения, в которых он в почти донкихотской манере пытался нащупать путь, способный уберечь человечество от дистопического будущего. Трудно не заметить в этих проектах намеки на советский период и переключку с романом «Мы» Е. Замятина (Хаксли уверял, что прочел Замятина уже после выхода своего романа, хотя они лично общались в Италии). Но главное, подчеркнул докладчик, — Хаксли никогда не возводил стену между Россией и Западом, а в его глазах человечество оставалось единым целым. Особое внимание Симановский уделил малоизвестной публицистике Хаксли. Уже в статье 1936 года «Что нам с этим делать?» Хаксли отстаивает радикальный пацифизм и обрушивается на экономический национализм, называя национальные государства истинными виновниками грядущей смерти. После войны он пишет книгу «Наука, свобода и мир» (1946), в которой атакует централизацию экономической и политической власти и предупреждает: децентрализм — единственный способ сохранить гражданские свободы. Хаксли, по мысли Симановского, сегодня гораздо актуальнее Оруэлла. Докладчик сослался на Нила Постмана, который еще в 1984 году заметил, что Оруэлл ошибся, предсказав мир, где человека будут угнетать болью и ложью. Хаксли оказался точнее: людей будут угнетать удовольствием и отвлекать от важного. Роман Оруэлла изображает мир Большого Брата, цензуры и насилия, а в дивном новом мире Хаксли люди сами любят свое порабощение, потому что биологическая инженерия и социальное конструирование желаний не оставляют места для глубоких чувств. Метафора «пузырей», введенная Хаксли, оказалась пророческой: сегодня человечество живет в собственных пузырях, только теперь ему не нужна тяжелая социальная машинерия — достаточно программного обеспечения. Ироническое подтверждение этой прозорливости Симановский находит в собственном эксперименте с *ChatGPT*: нейросеть охотно сгенерировала десять цитат о влиянии Хаксли на цифровые технологии, но восемь из них оказались фальшивыми. Удовольствие от правдоподобной лжи — разве не тот дивный мир, который рисует нам Хаксли? Докладчик также напомнил о влиянии Хаксли на психоделическую революцию (сославшись на Тимоти Лири) и хакерскую культуру. Парадокс заключается в том, что автор, описавший дистопию, невольно стал архитектором и цифровой свободы, и тех самых «пузырей», в которых мы сегодня обнаруживаем себя: информационных фильтров, персонализированных лент, эхо-камер.

Следующий доклад был посвящен жанру, который на первый взгляд не имеет ничего общего с предсказаниями будущего. В «*Автофикшне без будущего vs. Будущее автофикшна*» *Лариса Муравьева* (Смольный без границ) размышляла о том, какую роль этот литературный жанр может сыграть в определении будущего.

2 Статья на основе этого доклада печатается в настоящем выпуске.

На первый взгляд, этот автофикшн погружен в личную и коллективную травму, работает в меланхолическом режиме, фиксирует прошлое и настоящее, но не дает какого-либо горизонта. Популярность русскоязычного автофикшна в последние годы кажется симптомом того, что образ будущего в современном литературном процессе не востребован. Однако, продолжает докладчица, ситуация оказывается сложнее. Русскоязычный автофикшн — не только симптом культурной травмы, но и пространство для новых способов проектирования, вплоть до утопии. В отличие от западного постмодернистского автофикшна, который любит играть с границей реальности и вымысла, русскоязычный автофикшн сфокусирован на подлинности травматического опыта: путешествие с прахом матери по Сибири, нищета 1990-х, смерть близких от СПИДа, наследственные болезни, землетрясения, колониальная травма, опыт изгнания... Критики обвиняют жанр в «обеднении» литературы, в том, что он превращает книгу в пост в социальных сетях. Но именно эта уязвимость, эта нагота свидетельства, становится, по мнению Муравьевой, его силой. Опираясь на теорию Мишеля Бо и концепцию «утопии свидетельства» французской теоретикессы Катрин Кокийо, Муравьева утверждает: свидетельство по своей природе утопично. Оно пытается передать непередаваемое, выразить невыразимое, соединить память и историю, прошлое и будущее в точке, где этот разрыв никогда не может быть полностью преодолен. Русскоязычный автофикшн противостоит единой, унифицированной истории множеством личных историй: героизму противопоставляется уязвимость, маскулинности — гендерное разнообразие, метанарративу славного прошлого — травма и молчание. Он дает голос маргинализированным группам, легитимирует травму и обнажает собственную уязвимость. Глядя в будущее, Муравьева выделяет две тенденции. Первая — автофикшн, ориентированный на открытую коммуникацию и прямую фиксацию опыта. Вторая — автофикшн, существующий в условиях ограниченной публичности, где текст вынужден прибегать к обходным стратегиям: иносказанию, умолчанию, передаче травмы через семейные нарративы. Какая бы из них ни оказалась продуктивнее, автофикшн остается одной из самых значимых литературных форм, способных удерживать связь между личным и коллективным, прошлым и настоящим.

Майкл Мардер (Университет Страны Басков, Бильбао / Институт глобальной реконституции, Берлин) в докладе *«Пророчество и/против популизм(а) в еврейской Библии»* представил тщательный анализ Главы 8 первой Книги Самуила. Опираясь на глубокое понимание и осмысление этого библейского текста, он расширил представления участников об истоках популизма, реакции общества на коррупцию и авторитаризм, а также о значении свободы. Помимо еврейского смысла пророчества Мардер коснулся и греческого, а также распознавания знамений будущего в настоящем и образа будущего, используемого в качестве фона для критики современности.

Дмитрий Быков* (Рочестерский университет) выступил с докладом *«12 пунктов, которые нужно иметь в виду, давая абсолютно точные предсказания»*. Выступление представляло собой скорее метаправила для пророков, чем сами прогнозы. Прежде всего, по Быкову, щедрость всегда окупается. В частной и общественной жизни выигрывает в итоге более щедрая сторона (страна, корпорация или человек). Поэтому в будущем главную роль могут сыграть те, кто готов вкладываться в «бессмысленные» области — помощь инвалидам, поддержку вундеркиндов, интеллектуальные и промышленные мероприятия. Далее — отрицать прогресс бессмыс-

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

ленно. Люди будут все меньше зависеть от места рождения, национальности, пола и генетики, а религиозные люди, напротив, вернутся к корням — но именно для того, чтобы энергичнее отправиться в свободное плавание. Национальные государства и естественные границы, утверждал Быков, становятся анахронизмом. Ядерная война маловероятна; тюрьмы исчезнут, их заменят специализированные медицинские учреждения. Войны тоже со временем прекратятся. Но коллективную манию невозможно уничтожить с первого раза (иначе было бы «неинтересно» и не о чем писать продолжения). Диверсификация, по словам Быкова, — это форма неизбежного прогресса. Человечество перестанет делиться на жесткие категории и группы, а вместо этого возникнет множество новых идентичностей и их пересечений. Быков отослал к феномену Билли Миллигана (человек с множественной личностью), пояснив, — то, что раньше считалось клинической аномалией, станет повседневной нормой. Дроны станут главными героями кино и теорий заговора, носителями лекарств и кровавых посланий, инструментом личной и политической мести. Искусственный интеллект будет контролировать большинство соревнований и процессов, хотя сам не способен к самостоятельному научному творчеству. Люди будут проводить все больше времени в виртуальном мире, вовлекаясь в бессмысленную коммуникацию. Растущая коммуникативность — вообще один из главных векторов истории: голос получают даже те, кто не умеет связно излагать мысли. Огромную роль сыграют медицина, а алкоголь практически исчезнет. Наконец, Быков предсказал религиозное возрождение, пусть и в научной обертке. Стирание границ приведет к тому, что душа станет если не общепризнанной, то свободно обсуждаемой темой. Контакты с умершими войдут в регулярную практику: их участие в сетевой жизни станет таким же обычным, как в романе Т. Толстой «Кысь». Таковы некоторые пункты из списка Быкова — несколько ироничного, парадоксального и балансирующего между пророчеством и пародией на таковое.

В докладе *«Как авторы предсказывают и как читатели судят: детали войны и мира в „ЖД“ Быкова и других постсоветских текстах»* Александр Эткинд* ввел понятие «магического историзма» — литературной стратегии, использующей гротескные, фантастические образы (говорящие насекомые, оборотни, вампиры, клоны и др.) для осмысления исторического опыта, недоступного рациональному анализу. В постсоветский период, когда социальные науки оказались бессильны, именно художественное воображение взяло на себя задачу говорить о катастрофе и будущем. Лучшие образцы литературы тех лет, по мнению Эткинда, предсказывали грядущие потрясения, и авторам часто было легче представить конец света, чем конец России. В качестве примеров он привел «День опричника» и «Теллурию» В. Сорокина, а также постапокалиптические романы Д. Глуховского**. Но главным объектом анализа стал роман Дмитрия Быкова*** «ЖД» (2006). Эткинд разобрал быковское конструирование будущего: после эпохи нефтяного изобилия наступает крах из-за изобретения флогистона — дешевого и возобновляемого источника энергии, делающего нефть ненужной. Эткинд показал, что Быков этнизирует классовые отношения, представляя социальные конфликты как противостояние архетипических фигур из древнерусской истории. Это позволяет автору создать яркую, но уязвимую для критики модель. Что касается точности предсказаний, Эткинд отметил, что Быкову удалось уловить ключевую зависимость экономической системы от экспорта природных ресурсов, а также некоторые черты

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

*** Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

поведения правящих групп. Роман содержит сюжетные ходы и риторические фигуры, позже обнаружившие параллели в реальных культурных и идеологических нарративах. В то же время художественное предвидение имеет свои границы: Быков не учел ускоренное развитие технологий (беспилотные системы и цифровые коммуникации) и, что важнее, оставил за рамками повествования роль территорий и сообществ, которые в реальности оказались самостоятельными участниками событий. По мнению Эткинды, литературное пророчество работает в сослагательном наклонении: оно показывает, что могло бы произойти, если бы тенденции сохранились, и потому остается мощным диагностическим инструментом, но всегда привязано к историческому горизонту своего времени. Сам жанр «магического историзма», заключил докладчик, сохраняет ценность как способ художественного осмысления культурных травм и коллективных тревог.

В докладе «*Формы общности в распадающемся государстве: “Из-под глыб” Солженицына сквозь призму философии обыденного языка*»³ Наталья Гринина (Берлинский университет имени Гумбольдта) предложила перечитать А. Солженицына и отойти от привычных обвинений в национализме и противоречивости, которые часто звучат в адрес писателя. Она обратилась к *философии обыденного языка* (*Ordinary Language Philosophy*), в частности к работам Стэнли Кавелла, чтобы увидеть в текстах Солженицына не столько политическую программу, сколько попытку нащупать формы совместного действия и речи. Одна из центральных тем доклада — парадоксальное отношение писателя к коллективному «мы». С одной стороны, Солженицына обвиняют в том, что он говорит от имени всех, предписывает покаяние и навязывает моральные обязательства. А с другой — сам писатель постоянно подчеркивает: все мы (включая его самого) не без греха, и главное — не осуждение других, а общий ритуал очищения от травмы, доставшейся от отцов и матерей. Гринина заметила: Солженицын искренне верил в то, что, если бы люди больше разговаривали друг с другом, делились своими страхами и замечали общее между собой, политическая история могла бы сложиться иначе. Эта вера в коммуникацию как основу справедливости и самоорганизации может казаться наивной, но именно сегодня она заслуживает внимания. Коснувшись распространенного сравнения с Варламом Шаламовым (где Шаламов обычно оказывается морально выше), Гринина призвала не соревновать писателей, а взглянуть в детали мысли Солженицына. На ее взгляд, более интересно то, что писатель действительно хотел сказать, даже если его высказывания кажутся странными, непоследовательными или отталкивающими. Опираясь на Кавелла с его чуткостью к тексту и повседневному языку, докладчица попыталась понять, как у Солженицына уживаются апология монархии и идея демократии «малых пространств», пафос покаяния и жесткая критика действительности, требование говорить от первого лица и стремление к коллективному действию. Таким образом, резюмировала Гринина, наследие Солженицына не получило реального продолжения ни в либеральных, ни в консервативных кругах постсоветской России. Возможно, потому что любая форма коллективной речи оказалась скомпрометирована социалистическим государством. Однако *философия обыденного языка* позволяет сегодня заново поставить вопрос: может ли «мы» быть не токсичным и не навязчивым? Может ли совместное высказывание стать не принуждением, а освобождением? Солженицын, при всех его противоречиях, дает материал для такой рефлексии.

Рассуждения о предсказаниях в художественных текстах продолжил *Артеми́й Магун* (Институт глобальной реконституции, Берлин), выступивший с докладом

3 Статья на основе этого доклада печатается в настоящем выпуске.

«От критики фантазии к философской теории судьбы». Судьба, в понимании докладчика, — не мистическая предопределенность, а диалектический механизм исторического повторения со сдвигом, или переворотом (*flip*). Именно поэтому будущее не просчитывается рационально, но может быть предвидено поэтами и писателями, оперирующими метафорами и инверсиями. Фантазия же — амбивалентная сцена (сочетающая одновременно желание и страх), которая повторяется в разных образах и становится двигателем истории. В случае России, как предположил Магун, произошел характерный «переворот»: мазохистский культурный сценарий 1990-х годов (культура вины, самоуничтожение, пассивность) в 2000–2010-х годах сменился садистским (жестокость, трансгрессия, насилие как норма). Эти две фигуры воплощены в двух главных пророках современной русской литературы. У В. Сорокина доминирует садистская фантазия: подробные сцены жестокости, стремление к психоаналитическому реальному любой ценой, у В. Пелевина — мазохистская (пассивный герой, виртуальное насилие, ностальгия по реальности). Опираясь на фрейд-лакановский психоанализ и философию Гегеля, Магун показал, что любая фантазия структурно обратима: садизм легко превращается в мазохизм и обратно. Более того, фантазия всегда включает материальный объект (Реальное) — некий внешний, неподатливый элемент, требующий от субъекта постоянного действенного отношения, проникновения, трансформации. Такая фантазия работает и как диалогический инструмент: субъект определяет себя через противопоставление чему-то формальному, «ненастоящему», демонстрируя свою «подлинную материальность». Именно поэтому в культурах, живущих по такому сценарию, часто возникают трансгрессивные образы, которые заполняют логические лакуны — те клетки, которые по симметрии требовалось закрыть. В своем пределе, по мысли Магуна, субъект может исчерпать все возможные роли в садомазохистском сценарии: быть жертвой, потом палачом; отрицать насилие, потом воспроизводить его. В этом и кроется парадоксальная надежда: если пройдены все клетки, сценарий должен закончиться.

Заключительный доклад «Будущность Пелевина: что не так во вселенной “Трансгуманизм Инс.”?» представил Марк Липовецкий (Колумбийский университет, Нью-Йорк). Докладчик начинал с анекдотической ноты: в одном из поздних романов Пелевина («Круг», 2024) появляется персонаж — литературный критик, в котором легко угадывается сам докладчик. Этому персонажу приписаны невероятные власть и влияние. Липовецкий не был обижен, но заметил симптом: позднего Пелевина почти никто не читает. Романы выходят сотысячными тиражами, но их не обсуждают, не цитируют и не исследуют. Давние поклонники остановились на «Священной книге оборотня» или «Snuff», и это притом, что в 1990–2000-е Пелевин был самым переводимым русским автором, создавшим новый язык для описания постсоветского хаоса. «Generation “П”» (1999) до сих пор читается как блестяще удавшийся эксперимент и остроумное пророчество. Что же пошло не так? Липовецкий проследил эволюцию Пелевина от постмодернистского критика любых гегемоний к создателю жанра, который американский славист Элиот Боренштейн назвал «либерпанком» (*liberpunk*) — дистопией близкого будущего, где победили идеи либерализма. Пелевин, начиная с «Snuff», делает либерпанк своим главным оружием. Цикл романов о корпорации «Трансгуманизм Инс.» (2021–2024) разворачивается в мире, где реальность и виртуальность слиты, а сознание людей контролируется через импланты. Миром правят «банковые» олигархии — мозги умерших властителей, хранящиеся, конечно же, в банках и живущие в виртуальном пространстве. Ключевая проблема этой вселенной, по Липовецкому, — отсутствие выхода. Ранние романы Пелевина («Чапаев и Пустота», «Generation “П”») выстраивали нарратив путешествия героя к истине, выхода из пещеры. Поднима-

ясь по лестнице власти, герой обнаруживал, что наверху на самом деле ничего нет. Или что вся власть — это фикция, а прорыв к истине дарит свободу (или даже нирвану). В поздних романах цикла свобода оказывается полностью контролируемой симуляцией. Герои не делают реального выбора, любой их поступок предопределен алгоритмом, постоянно воспроизводится статус-кво. Главная мантра персонажей — «пусть будет так» (*let it be*). Романы остроумно сконструированы, как видеоигры, но в видеоигре у игрока есть выбор, ведущий к разным исходам, а у Пелевина исход всегда один и тот же. Избыточная сложность сюжета скрывает отсутствие движения. Внутренние конфликты — двигатель любого сюжета — здесь заменены их симуляцией. Липовецкий утверждал, что мир «Трансгуманизм Инс.» оказался мертворожденным: Пелевин не нашел ничего, чем можно было бы пошатнуть этот монолит. Ирония заключается в том, что саркастическая критика глобальных механизмов власти невольно слилась с риторикой тех самых сил, которые эта критика должна была разоблачать. Однако, заключил Липовецкий, художественная ценность поздних романов Пелевина от этого не возрастает.

Конференция «Режимы будущности» очертила сложное, почти призрачное пространство, в котором рациональные проекты, литературные пророчества и утопические грезы не столько соперничают, сколько переплетаются причудливым образом. Как оказалось, точность предсказания часто зависит не от метода, а от готовности читателя разглядеть в метафоре факт, в гротеске — тренд, а в пародии — не разрушение, но странное, почти амбивалентное утверждение будущего. Вопрос о том, какой из режимов будущности окажется действеннее, остался открытым, но кажется, что он останется открытым навсегда, потому что это самое будущее не терпит окончательных ответов.

Софья Порфирьева